

Мераб Мамардашвили

Беседа двенадцатая

*(из цикла лекций «Беседы о мышлении»)*¹

За все это время мы разными путями и какими-то кругами все ближе сжимали одну тему и перекрещивались с ней – это тема закона. Термин «закон» я упоминал уже несколько раз, это как бы какой-то круг, который все время перемещается и с которым мы все время перекрещиваемся, и пока не знаем, что это такое. Теперь попробуем в этом разобраться. В попытке разобраться в такого рода темах я опять буду стараться черпать из нравственного и духовного опыта, который имеется у всех нас.

Вы помните, что я говорил о состоянии, или позиции, ясного сознания, ясного перед какой-то стоящей перед ним или идущей на него волной и не действующего или отказывающегося действовать внутри уже налаженного культурного, социального и духовного механизма и, с другой стороны, не имеющего никаких гарантий, никаких опор, ничего такого, на что вне самого себя можно было бы положиться. Такое сознание в человеческой истории было зафиксировано давно и было зафиксировано символом

¹ Лекционный цикл был прочитан в Тбилисском государственном университете в 1986–1987 годах. Печатается под редакцией и с любезного разрешения Е.М. Мамардашвили. Настоящая публикация впервые представляет читателю текст лекции в аутентичном виде. – *Прим. ред.*

героя. Это героическое сознание, но моя мысль (или наша мысль) состоит в том, чтобы показать, что героическое сознание, которое обычно резко отличается от повседневного, обыденного сознания, или реального сознания, и есть само реальное сознание. То есть если мы сознаем реальность, то только в героической точке, где, с одной стороны, мы стоим перед волной, а с другой стороны, там нет ничего помимо нас гарантированного, на что мы могли бы вне самих себя опереться. И тогда, как ни парадоксально, мы и находимся в реальности.

Реальность – ведь это всегда другое, чем мы обычно думаем, и чаще всего она для нас открывается священным ужасом, а не просто холодной «прикидывающей» мыслью. Герои – это те (и теперь я собираю нити того, что я говорил), о которых можно сказать, что они перестали порождать из себя несуществования. Мимоходом замечу, что парадокс мысли состоит в следующем: тот, кто из себя перестал порождать несуществования, фантазмы, привидения, тот впервые и может называть существования, давать им названия. Давайте попробуем все это расшифровать, потому что это чудовищно важно для нашей мысли, для нашей мыслительной жизни. Перестал порождать – это значит остановил в себе круговорот, независимо от тебя идущий, круговорот представлений, круговорот позиций, круговорот побуждений, толкающих тебя действовать. Я же сказал, что описываю человека, который находится в сознании невозможности действовать, и все дело в том, что мы должны осознать простую вещь: то нам кажущееся, что я назвал несуществованиями (я имею в виду вовсе не психологические галлюцинации; скажем, кричать «Держи вора!», имея в виду старушку, продающую зелень на базаре и получающую тем самым незаконные доходы, кричать «Ату ее, ату!», при всей очевидности для нас психологической реальности акта незаконности, есть борьба с несуществующим), ткется из материи нашей собственной души, из наших собственных способностей, из наших собственных горизонтов, из наших собственных чувств, и не случайно Шекспир говорил о том, что мы материя, из которой ткется сны. Так оно и есть, в том числе тогда, когда мы всегда видим сучок в глазу другого и не видим бревна в своем собственном, когда мы

ненавидим всех других, потому что нам кажется, что в мире есть сознательно против нас действующие носители зла, хотя в действительности мир устроен не так. Он устроен таким образом, что в нем нечто складывается определенным образом, вовсе не имея намерения причинить нам боль или наслаждение. Мы чаще всего не способны увидеть мир, не населяя его чужими виновниками нашего счастья или несчастья.

Чтобы быть счастливыми, например, мы хотим построить счастливое государство, которое, как вечный двигатель, механически производило бы для нас счастье без какого-либо риска и усилия. Но законы бытия таковы, что если человек отказался от риска и усилия, то машина все равно не будет выдавать ему счастья, а будет выдавать ему только то, что по радио или в газете будет называться счастьем. Точно так же и источники зла, беды, несчастья мы ищем всегда в других. Такое видение других, такое видение мира я называю видением несуществований. Скажем, мы пытаемся стихию человеческой корысти, инстинктов собственничества загнать в какие-то рамки, бороться с нею, увеличивая зону государственного контроля, который и так сплошной. Тем самым мы бежим вслед за несуществованиями, пытаюсь схватить их за хвост, и это является несуществованиями по одной простой причине: именно всеобъемлемость государственного контроля несет в себе микробы того самого беззакония, которое рождает то самое воровство и воров, за которыми мы бежим. К тому же смешно бежать за этими ворами, так как их даже невозможно описать, настолько это нечто несуществующее. Скажем, как можно московского или нашего родного грузинского миллионера описать как некий реальный крупный характер, как шекспировского Шейлока или бальзаковского Гобсека, наделить его почти что демоническим интересом, силой, характерологической мощью? Невозможно так изобразить его потому, что его миллионы – это не деньги, это бумажки, которые зарывают на Кавказском хребте или в саду, и есть, кажется, даже профессия (в Азербайджане и Грузии), называемая «проветриватель денег». Это люди, которые периодически, чтобы деньги не сгнили, их вынимают и проветривают и за это получают зарплату. Вы мне скажите, как с этим бороться? Ведь борьба предпо-

лагает пафос, страсть; борьба есть борьба против небытия или за бытие. Конечно, несуществование может быть страшнее самого плохого существования, я просто говорю о складывающейся ткани такого несуществования, а она складывается из нас самих. Мы сами первыми обвиняем такого рода воров и думаем, что, если мы их посадим за решетку, сразу все экономические проблемы решатся; а они, наверное, так не решатся.

Значит, в мысль ничто из такого рода побуждений мыслить *так* входить не может, поэтому я в прошлый раз говорил о чистой мысли. Следовательно, тот, кто остановил в себе круговорот, то есть порождение такого рода несуществований из материи собственной души, есть герой, или – если снять романтический ореол – тот, кто совершает акт мысли, то есть тот, кто способен увидеть реальность. Увидеть реальность и мыслить – это одно и то же; тем самым, если он в таком сознании, то он как бы полностью исполняется, не оставляя позади себя и в себе ничего темного. Темное обладает особым свойством: оно способно само по себе тянуться дальше независимо от тебя, независимо от тебя сплетаться с другими вещами; это темное как бы попадает в поток естественной необходимости как нечто неделанное и в этом потоке проходит собственные пути. То, чего ты не остановил в себе и не доделал в себе, осталось в виде темного и участвует в каком-то независимом от тебя общем круговороте вещей в мире. Но если ты остановил круговорот, даже если ты не совершаешь никакого реального акта, имея это сознание, а просто пребываешь в нем, стоишь в этом сознании, то уже этим ты как бы полностью исполняешься, так как в тебе не осталось ничего темного, которое тянулось бы само по себе, без тебя, тянулось бы, уже сплетаясь с другими вещами, в том числе с мыслями других людей, поскольку мы ведь живем совместно.

Кант прекрасно определил человечество: человечество это есть коммуникабельность, то есть человечество есть некоторый организм, который охвачен всеобщением, или общенностью. Поэтому первоопределение, которое мы дали мыслящей личности, есть мужество невозможного; если мы выделили стояние в чистом сознании, где вся энергия остальных наших инстинктов перешла на само это сознание, превратилась в энергию чистого

сознания, то это есть одновременно определение исторического человека, существа, живущего посредством истории: посредством истории он сам *становится*, посредством истории он устанавливает истину, узнает истину, потому что нет ничего предданного, все в своем начале смутно и темно по своему смыслу и должно пройти какой-то путь, чтобы определилось, что это было, что это есть. Существо, имеющее орган совершения таких путей, есть историческое существо, или, наоборот, история есть орган человеческого существа, а не просто какая-то длительность (случилось событие А, за ним случилось событие В, потом случилось событие С, и мы называем это историей). История есть как бы механизм раскручивания и доведения до ясности того, что уже есть, что уже сплелось или сплетается. В этом смысле, скажем, у Сервантеса есть прекрасная фраза: «Истина, мать которой история». Следовательно, история есть такой орган, где человеческие существа событийствуют. Я хочу сейчас разложить это слово, снять в нем статический элемент, связанный со словом «бытие», и перенести ударение на событие – со-бытие. Можем сказать так: история есть нечто такое, что исполняется только со-бытийно, то есть множеством актов и проявлений, доводящих до конца и в полноте своей исполняющих событие. Я должен событийствовать и с самим собой, потому что нечто неясное в предшествующую секунду должно со-общиться и длиться в следующую секунду, которая проясняет, доводит до исполнения то, что было перед этим.

Так же и в моих взаимоотношениях с другими. В духовной жизни, скажем, если мы действительно поняли мысль Платона, то это означает, что мысль Платона случилась не тогда, когда ее высказал Платон, а она случается с включением моих собственных актов мысли, которые понимают Платона и мыслят ту мысль, которую мыслил Платон. В этом смысле мысль Платона есть затянувшееся со-бытие; следовательно, по своей структуре оно как-то множественно расположено в пространстве и времени. А если это так, то историческое существо, то есть участвующее в такого рода механизме, должно иметь способность и силу держать время и мысль. Внутри такого механизма нужно держаться, пребывать достаточно длительное время в какой-то концентрации своих сил и состояний, чтобы

ток событийствования прошел по всем точкам и событие исполнилось. Держать время и мысль – это и есть быть свободным.

Я мог бы сказать, возвращая вас к теме закона, которую я постепенно ввожу, что законы существуют только для свободных существ. Несвободные существа видят факты и все время рискуют не заметить законов: когда, например, я вижу вора – это факт, я бегу за ним и не вижу закона; если бы я видел закон, я бы не бежал за воров, а занимался чем-то другим – поставил бы, например, простой вопрос о превращении человеческого существа в инфантильного дебила, который никогда в жизни ни за что не отвечал, дебила, лишённого сознания насладиться или огорчиться результатом ответственности за свой собственный труд и предприимчивость. Самое высшее благо для человека – сознание ответственности за экзерсизицию, упражнение своей собственной свободы, когда ты понимаешь: если тебе плохо, то это потому, что ты что-то плохо сделал, если тебе хорошо – значит, ты своим трудом заработал это. У нас же есть масса людей, получающих все нужное для жизни в распределителях. Как можно жить, не чувствуя, что то, что ты получаешь, есть прямое продолжение того, что ты вложил: поставил самого себя на карту и своей предприимчивостью разыграл что-то, и в итоге – или хорошо, или плохо? Но если плохо, то очень важно сознавать: плохо не потому, что тебя наказали у прилавка Армии спасения (не дали бесплатный суп, и тебе плохо), а плохо, потому что ты сам виноват. Когда я сказал, что законы существуют только для свободных людей, я тем самым сказал о законе следующую вещь: законы (пока мы не знаем, что это такое), очевидно, есть нечто такое, что только и ставит нас самих в точку роста, в такую точку, где мы сами можем расти и способны внутри себя, внутри артикуляции, членораздельной артикуляции своего существа, приращивать силу. И поэтому я сейчас оберну этот момент и скажу о тех, кто прекращает в себе стихийные сцепления, порождающие привидения и несуществующие вещи, скажу, воспользовавшись евангельским термином для обозначения этого, и потом расшифрую его на очень понятном и доступном нравственном и социальном материале.

В каждый данный момент существует одно поколение, которое должно *не пройти*. В Евангелии говорится: это поколение,

которое *не пройдет* («не пройдет» – значит не пройдет во времени; когда все проходит, оно не унесется временем); имелось в виду поколение, которое совершило акты – возникло христианство, – и они необратимым образом изменили историю. Это поколение действительно *не прошло*, но люди внутри этого поколения жили сознанием своего призвания или обращенного к ним требования *не пройти*. Это значит – люди как бы стояли вертикально, сковав и держа время (я ведь сказал, говоря о событиях и об исторических существах, что это существа, способные держать время и мысль). Беда в том (и я перехожу к разъяснительной иллюстрации), что у тех, кто был до нас, была ситуация, когда от поколения требовалось, чтобы оно стало вертикально и *не прошло*, но они прошли и ничего нам не оставили, в том числе не оставили смысла того, что произошло. Ведь, например, если вы сегодня знаете смысл, который пытается показать фильм «Покаяние», то не от тех людей, которые жили тогда и тогда должны были извлечь смысл, стать бодрствующими, то есть стать вертикально и *не пройти*, создать какие-то события, которые дошли бы до нас. А сейчас ситуация как бы в том, что этого не случилось, такого поколения не было, все происходит так же, как тогда, и моя мысль состоит в том, что мы находимся в такой ситуации, что по отношению к происходящему вокруг нас мы должны быть поколением, которое не пройдет, станет вертикально, поймет какие-то смыслы, и история получит какой-то необратимый отпечаток. И следующему поколению не придется ни разгадывать смыслы, ни считать, что до него не происходило никаких событий, а просто все повторялось.

Возникает вопрос, почему, собственно, те *прошли* и ничего нам не оставили? Потому что не выходили на предельное состояние – только на пределе рождается мысль, и только на пределе извлекаются смыслы. Скажем, следовательно из фильма «Остановился поезд» – это человек, пытающийся стоять на пределе. Что такое предел? Это граница. Для стоящего на границе время отсутствует, перед ним только лицо смерти, а смерть и есть символ отсутствия времени. Значит, во-первых, нет времени (граница) и, во-вторых, нет ничего другого, на что можно было бы опереться и

что вне тебя было бы готовым механизмом, который ты мог бы привлечь себе на помощь, и на нем основать свою мысль и свой акт извлечения смысла. Герой этого фильма полностью вынут из всего, что люди обычно мыслят и думают (они думают по законам того, что я называл удавкой человечности), он – на границе, он смог стать на предел, и там – мысль. Если человек совершит акт, диктуемый мыслью (в фильме это то, как он видит закон, в данном случае юридический закон), то, как он это сделает, – непреходяще, это остается. На пределе, в граничной ситуации, или на границе такого рода ситуаций, мы можем называть вещь, то есть вещи тогда входят в Логос из темноты и беспамятства. Внутри мира всех других персонажей этого фильма ничто никак не называется, ничто не имеет своих имен – все ведь называется наоборот (воровство называется человечностью), причем я сейчас не спорю, хорошо это или нехорошо (если мы начнем спорить, то мы уже внутри несуществований; нравственно или безнравственно кого-то объявить героем, если из-за этого вдова получит квартиру, – это бесконечный спор: один будет доказывать, понимая ситуацию человечески; ну, какое это имеет значение, пускай впихнут его в образ героя, зато вдова получит квартиру, пускай спектакль совершается, но мы ведь понимаем и помогаем друг другу жить, вместе выживаем), но я имею в виду, что с точки зрения мысли в этой ситуации и в этом мире все предметы не имеют названий, все они не названы. Ничто не называется и нельзя называть своим именем: нельзя что-то назвать даже злом, нельзя называть добром (попробуйте назовите злом то, что человек отправил локомотив в неисправном виде).

Я обращаю внимание на способ описания, то есть на мысль как инструментарий нашей ориентации в реальности и инструментарий жизни в ней. Можно назвать это злом? Нет. Добром? Нет. Чем же? Это что-то такое безымянное, смутное и склизкое и, в общем, отвратительное. Нет названия. Так, может быть, символ Бога, который впервые давал вещам название, и есть символ такого рода ситуации, в которой мы оказываемся? Ведь мы изобрели идею Бога. Просто я хочу сказать, что, может быть, мы ее изобрели, для того чтобы обозначить те случаи, когда мы нахо-

димся в такого рода ситуациях; человек как бы давно понял, что есть ситуация называния вещей, особая ситуация, – не во всех ситуациях можно дать вещам *их* названия, имена. А с другой стороны, я хочу обратить ваше внимание на то, что такая ситуация *называния впервые* (а она тогда, когда мы на пределе и с предела смотрим) характеризуется еще и тем, что в ней знать могу только я (всякое я), только тот, кто движется в неведомом и неизвестном, где он получает уникальный опыт, который принадлежит только ему, и только он может из него извлечь смысл, распутать этот опыт и тем самым дать родиться тому, что хотело родиться в этом опыте – даже целому миру. В фильме «Остановился поезд» только сам следователь может извлечь опыт, потому что *испытал* только он. Здесь не имеет значения, что многие другие могут испытать такой опыт: все равно они его испытывают как опыт лично-уникальный. Ведь он еще *не знает*, и это незнание есть его собственное незнание и непонимание, которого нет ни у кого другого. <...>

Мы все должны как бы иметь свою тень и мы ее всегда имеем. Русский философ Шестов говорил, что есть две вещи, которые только личные: это смерть (умираешь только ты сам, за тебя никто не умирает, и не некто умирает, а умираешь ты), и вторая вещь – это понимание; понимать можно только самому, акт понимания есть абсолютно личный акт. Я бы добавил третью вещь – тень, имея в виду под тенью собственное недоумение и незнание, личную утменность относительно чего-то, которая должна как-то разрешиться. И это вообще закон мысли. Представьте себе, что я пишу стихи или картину, ведь факт, что только я могу знать, какое слово должно быть сейчас поставлено в строку или какие краски использованы. А чаще всего от поэта или живописца требуют, чтобы испытываемое им соответствовало представлению в другом месте, у других людей о том, что он испытывает (было бы знаком представления о том, что он испытывает). Мы как бы заранее должны соответствовать каким-то представлениям о красоте. Да нет, только я могу знать, что красиво, то есть какое слово на какое место поставить в стихотворной строке, или какую взять краску, или какую линию провести на полотне.

Еще одно – очень важно нечто в себе остановить (и это есть акт мысли), потому что (как я уже пытался показать) материя мысли и сами события мысли множественны, они расположены одновременно на многих точках. И поэтому, скажем, важен опыт Достоевского, описавшего действительных бесов, поскольку он следовал, по его собственным словам, не реалистическому описанию, а реализму души; он описал их как возможность собственной души. Он как бы в себе поймал это и эксплицировал действительный смысл и действительный облик того, что существовало в виде побуждений в нем самом, побуждений, типичных для российского общества не только тогда, но и с еще большей силой позже. Он это делал с таким сознанием, что бесы – это я, и, останавливая это в себе, он останавливал это как возможность и у других людей, в других местах. Бесы – это я, и он в себе останавливал эту возможность, бесовскую возможность души, которая без такой проделанной работы выплескивается в других людях, поскольку сознание есть множественный индивид; она в них разыгрывается, если ты в себе ее не остановил, то есть в каких-то точках должны прерываться акты рождения бесов. Доступная нам точка – это прервать их в самих себе.

Нигилист (а нигилист – это образ, отличный от образа героя, антигерой) говорит: это всё – *они*. А вот, скажем, Гамлет или Эдип собирает свою жизнь в какое-то целое, жизнь, распростертую и разбитую на множество зеркальных осколков: где-то я родился, и в одном месте – смысл моего рождения, состоящий в том, что я родился от женщины, которая мне мать, но в другом месте пространства и времени моей жизни я сплю со своей матерью как со своей женой и вижу в ней жену; это ведь все куски жизни, они помимо меня соединяются, скажем, в виде тех бед, которые обрушиваются на город, в котором живу я, Эдип, – а как *мне* их соединить? Я хочу сказать, что их нельзя соединить без первоноты мысли: всё это – *я*, в *себя* заглянуть надо.

Значит, что же мы знаем? С одной стороны, только *ты* можешь – твой опыт уникален. Но дело в том, что то, что мы называем призванием, или предназначением, человека, и есть уникальность его опыта, который он должен не упустить и родить из него

то, что в нем должно рождаться; иначе это уйдет в небытие и никем другим не будет компенсировано, никем другим не будет рождено. Это и называется призванием, или предназначением, – дать родиться рождающемуся, а с другой стороны, и самому родиться в нем, самому родиться в других новых чувствах, мыслях и состояниях. Другая сторона этого дела (сначала я беру, казалось бы, уникальную, индивидуальную сторону) – завязка на других. Я уже частично ее ввел, сказав, что бесы – это я, и это значит узнавать в других людях, которые бесовствуют, что это я бесовствую в них. Это означает, что ты – часть других, в том смысле, что ты – их шанс: они так сплетены с тобой, что в зависимости от того, что ты сделаешь с собой и что из себя извлечешь, дашь ли ты родиться чему-нибудь или нет, ты как бы даешь или не даешь им шанс развиваться и расти. <...>

<...> хочу одним штрихом завершить пассаж, на котором мы прервались. Я говорил, что именно перед чем-то рождающимся у нас есть предназначение и призвание. Если коротко, то оно состоит в том, чтобы дать ему родиться, и является оно нам в виде уникального опыта, который только мы можем распутать, и, следовательно, только мы можем не дать тому, что рождалось, уйти в небытие. На философском языке, в понятиях которого очень трудно бывает узнать жизненную изнанку (эти понятия о том, что мы можем испытать и в других терминах, в других выражениях, более жизненных), это называется способностью человека к бесконечной определенности, или бесконечной ценностью морального лица. Этими словами обозначается то, что этот опыт бесценен, бесконечно ценен. Кстати, именно поэтому нельзя убивать – не просто по законам простой плоской морали (ведь сама мораль есть следствие того, как мы устроены), не потому что это банальное правило общежития, чаще всего нарушаемое, а потому что есть онтологический запрет. Любое существо бесценно, если и поскольку оно – в точке бесконечно определяющегося только этим существом опыта. Для существа этот опыт очень труден, и часто это существо избегает его путем, скажем, самоубийства или донося на самого себя, но иногда мы помогаем ему, освобождаем его от бремени ответственности и бремени свободы, убивая. Так вот, с рождающимся и рождением потом нас самих

в том, чему мы помогли родиться, и связано то, что мы другими словами называем так (когда мы смутно осознаем это): самое важное, самое близкое, то, о чем на самом деле идет речь. Мы говорим: можно весь мир покорить, а что толку тебе от этого, если ты потеряешь душу? Неясно, что такое здесь душа, но все такого рода фразы вращаются вокруг осознания чего-то, что мы называем и чувствуем самым важным и близким: вот у нас здесь есть самое важное, и это самое важное есть то, о чем в действительности идет речь тогда, когда речь идет, может быть, о совершенно других вещах.

Я приведу такой парадоксальный пример: самым важным, конечно, и самым близким является смерть, и о ней на самом деле идет речь, а то, о чем на самом деле идет речь, никогда не имеет ответа в значениях и понятиях. Скажем, ребенок заглядывает в лицо смерти, но он не знает смерти (и никто не знает), но мы можем понимать это так, что он не знает значения слова «смерть». Допустим, он вырос и узнал его, но ведь значение слова «смерть» – не ответ на тот вопрос, которым он был озабочен, потому что не об этом шла речь. Речь шла не о значении слова «смерть», не о том, о чем ты можешь потом узнать, а речь, конечно, шла о том, чтобы родиться перед лицом символа смерти. Я уже вводил значение символа смерти как символа лица, перед которым мы рождаемся в своих мыслях. Об этом речь идет, а не о том, чтобы, когда-то спросив, узнать наконец-то, что значит слово «смерть» или слово «любовь», что значит слово «отец». Конечно, в комплексе Эдипа речь не идет о чем-то, ответом на что является узнавание значения слова «отец», социальной роли отца и так далее; все, что мы узнаем об отце как о социальной фигуре, как о фигуре гражданской, не есть ответ на тот вопрос, который фигурирует под знаком метафоры отца; там речь идет о чем-то другом. Предлагаю такой оборот: самое важное, самое близкое, то, о чем на самом деле идет речь и на что ничто из мира значений и общих понятий не является ответом.

Так вот, чтобы зайти в область ответов, являющихся ответами именно на самое близкое, самое важное, на то, о чем действительно идет речь, мы должны войти в пространство законов. Закон –

это некоторые необходимые отношения, вырастающие из природы вещей. Как мы можем сдвинуться в это пространство, тем более зная теперь, что это пространство есть одновременно пространство и нашего собственного рождения, нашего собственного самопостроения? Я как-то говорил об абсолютности истины, сказав, что относительных истин не бывает, относительными бывают только знания, знаково-логические структуры знания, а истина – она абсолютна: или она есть, или ее нет. Дверью в пространство, где нам открываются законы, пространство, где мы помещаемся в какую-то точку роста, является некоторая абсолютная законченность смыслов, то есть дверью является наличие или случание с нами такого рода опыта.

Я задам простой вопрос. Каков смысл 1937 года? Вот вы смотрели фильм «Покаяние». Я не буду говорить, каков именно этот смысл, а обращу сейчас ваше внимание на то, что, каков бы он ни был, он завершен и абсолютно ясен, в том числе потому, что смысл этот открывается только на границе, то есть тогда, когда мы стоим на пределе: *там* открывается реальность, а реальность – это просто иносказание, другое слово для смысла. Вы, наверное, спорили, обсуждали что-то, и если вы взгляните в опыт этих разговоров, то увидите: или кто-то понимает, или нет, и никакими объяснениями и аргументами нельзя добиться его понимания. Повторяю, смысл того, что произошло и что обозначено 1937 годом, абсолютно завершен и понятен; и главное, тот, для кого он понятен, будет расти и развиваться одним образом, а тот, кому он непонятен, будет существовать по-другому. Здесь нет ничего среднего, промежуточного, опосредствующего, есть абсолютный перепад. Или ты рождаешься в том, что ты можешь подумать, понять, рождаешься в лоне абсолютной ясности и законченности смысла этих событий, и тогда ты способен рождать живые мысли о любых других предметах; или, если не поймешь, ты будешь жить в царстве мертворождений всегда. Здесь перепад, здесь нет ничего промежуточного (вот на какую черту я хочу обратить внимание), здесь как бы нельзя какими-то ступенями перейти от одного к другому.

Приведу исторический пример, о котором тоже можно бесконечно спорить, но просто в нем тоже есть перепад, на одной сто-

роне которого мы имеем одни существа, а на другой стороне имеем существа другие. Это пример Варшавского восстания 1944 года, когда Советская Армия стояла в нескольких километрах на другом берегу Вислы и наблюдала, как это восстание подавлялось и как уничтожали восставших. Можно бесконечно спорить о смысле этого события, потому что есть взаимосплетения русско-польских счетов как минимум трехсотлетней давности, в которых распределены определенным образом все формы вины, все заслуги (кто-то провинился, а кто-то, наоборот, имел заслугу), и счета уходят в бесконечность эмпирических фактов. Можно приводить одни, другие, можно по-разному обосновывать, почему нужно было поступить так, а не иначе, а я тем не менее утверждаю, что смысл того, что произошло, один, абсолютен, закончен и завершен, так же как смысл того, что произошло в 1937 году. Вы ведь услышите аргументы, скажем государственные аргументы: так было надо, были окружены врагами... Вы противопоставите этому какой-то другой аргумент. Просто я хочу сказать, что, во-первых, смысл завершен и, во-вторых, тот, кто живет в этом завершенном смысле, – один человек и он развивается определенным образом, а тот, кто не живет в этом смысле, находится в другом пространстве.

Делая шаг дальше, я сказал, что дверь пространства законов открывается событиями, в которых есть актуально по смыслу собранная бесконечность эмпирических фактов и обстоятельств; смысл их всех завершен, хотя по самим фактам мы, будучи конечными существами, пройти не могли бы (они бесконечны, уходят в бесконечность, а мы конечны). Смысл завершен и не требует доказательств. Взяв эту черту, мы кое-что начинаем понимать – начинаем понимать, о чем идет речь, когда мы говорим о законах. Абсолютными являются такие смыслы, которые, чтобы стать смыслами, включают и наши акты, нас самих; мы сами как бы повязаны (или ангажированы) этим смыслом, или другим смыслом, или противоположным смыслом. Они включают совершаемые нами акты, это же относится и к закону. Закон – это необходимое отношение, вытекающее из природы вещей, а в природе вещей, в природе того, что вещи такие или иные, участвуем и мы, в том

смысле, что космическая ткань ткется из того, как мы распорядились выпавшим нам по законам предназначения уникальным опытом: распутали мы его или не распутали, встали ли мы на отведенное нам пустое место бытия, заполнили ли мы его собой, своей активностью и способностью вертикального стояния, которое держит время и мысль. Переноса это на закон, я могу иллюстрировать очень простыми вещами сплетенность того, что называется законом, с некоторой средой средств и целей достижения закона, которые даны или вырабатываются определенными существами, названными мною существами свободными (законы существуют только для свободных существ). Я это проиллюстрирую очень простым способом.

Договоримся так: мы имеем, с одной стороны, закон как нечто, что может быть записано или написано, скажем некоторые естественные законы, которые одновременно могут быть и юридическими законами, то есть записанными путем юридических постановлений, правил и так далее. С другой стороны, в законе, мы знаем, есть еще и то, что я назвал активностью человека, а сейчас назову условно некой силой языка, силой, состоящей в том, чтобы все, что есть, было артикулировано, представлено как есть и названо.

Я сейчас поясню эту черту. Простите меня, что я иду кругами, но здесь вещи такой чудовищной сложности, что просто тезисами излагать их (что я мог бы сделать) бессмысленно, если мы хотим вместе что-то понять. Вернусь к тому, что я говорил о названиях. Я сказал, что первоначальные вообще возникают в той области, где кто-то движется в неведомом и неизвестном, для чего заранее нет никакого эквивалента, и, более того, этот опыт не может соответствовать никакому эквиваленту. Только я знаю, какое слово встанет в строку, и никто не может мне указывать, потому что я ведь своей мысли не знаю и только я могу ее узнать. Кто же мне может давать указания? Хотя вся жизнь в нашей стране построена на такого рода указаниях; скажем, цензура на журнал: издательство ожидает от нас таких книг, таких статей, поэм и прочее, которые были бы знаками их представления о том, что испытывается в подобного рода случаях (в случае любви, ненависти и так

далее), а этого не может быть. В этом смысле человек – уникальная ценность, потому что каждый должен идти на некоторое бесцельное испытание, бесцельное в том смысле, что он заранее не знает, для чего оно и почему, и только сам сможет узнать в конце какого-то пути. А такое невозможно без того, что называется прозрачностью, или полной представленностью всего, что есть, а это начинается всегда с называний.

Например, в нормальном языке, в данном случае французском, слова «гласность» вообще не существует. Это в нашем уродливом языке существует слово «гласность»; во французском есть слово, обозначающее те же вещи, которые мы обозначаем словом «гласность», но гораздо более грамотное и без юродивой гримасы (в слове «гласность» есть юродивая гримаса). Это слово «*transparence*» – «прозрачность». Вот что такое гласность в действительности – прозрачность; не сокрытость, а представленность. Скажем, есть ГАИ, Государственная автоинспекция, есть, с другой стороны, автолюбители, владельцы машин. Оказывается, есть даже клуб автолюбителей, то есть какая-то общественная, негосударственная организация. Я видел как-то машину, на которой была надпись не ГАИ, а клуба автолюбителей, и эта машина на моих глазах занималась тем, чем должна заниматься ГАИ: она занималась контролем движения, контролем автомобилистов. Это и есть ситуация, когда вещи, которые есть, не представлены как они есть. По определению у ГАИ не может быть интересов, тождественных интересам автолюбителей, интересы автомобилистов не тождественны интересам ГАИ. И в том, что они различны, они должны быть представлены, должны так и называться, а не путаться; не может автомобилист брать на себя функции ГАИ.

Это как раз ситуация без называния; нельзя тогда ничего называть, ничего нельзя понимать и нельзя жить гражданской жизнью, потому что продукты нашей жизни есть динамика между вещами, которые признаны в своем различии и представлены как есть. И все, что есть в человеке, должно быть представлено прозрачно на какой-то агоре, сцене, будь то поэзия, литература или сама артикуляция гражданской жизни. Гражданская жизнь в своей артикуляции должна представлять все то, что есть. Скажем,

есть ведь интересы подсудимого как юридического лица (я сейчас отвлекаюсь от совершенного им преступления и беру акт суда), интересы, отличные от интересов прокурора. Их должен представлять адвокат, а у нас адвокат одновременно выступает и как прокурор. И это не анекдот, а предмет, о котором должна быть мысль; это не просто скверная история, скабрзная деталь, а вещь, о которой нужно мыслить. А если начать мыслить, то тогда мы увидим, что никакая юриспруденция не может работать; более того, от преступника еще ожидается, чтобы он внутренне участвовал в судопроизводстве на стороне судьи и прокурора, чтобы он сам себя обвинял. Повторяю: не держите в голове только анекдотическую сторону этого дела, а имейте в виду суть онтологическую, философскую, мыслительную. Это есть то, что я называю непредставленностью, и поэтому первую мысль называю актом называний того, что есть, чтобы все называлось своим именем: чтобы адвокат назывался адвокатом, преступник – преступником, следовательно, существом, имеющим юридические права и не обязанным ни доносить на себя, ни разоблачать себя на процессе в моральных терминах, так же как и судья должен быть судьей, а не тем, кому из райкома можно позвонить по телефону. Это примеры представленности, или названности. Теперь подчеркну другую мысль: без этой названности, без пространства, в котором все представлено, мы не можем даже развиваться, не можем иметь культуру, а культура и есть приращивание силы, нечто, что само себя приращивает, а не расходуется в выхлопах и рассеянии. Все, что делается между ГАИ и автомобилистами, все, что делается в суде, – это все есть пространство бесполезных выхлопов и рассеяний человеческих состояний и различий, которые тем самым не порождают ничего продуктивного. Оттуда ничего не растет, не рождается, в том числе не рождается и справедливость.

Теперь вернемся к закону. Закон, казалось бы, должен давать справедливость, и тут вся наша тема и лежит. Есть закон, а есть сила субъекта, сила языка, если иметь в виду пространство названности всего как оно есть в своих отличиях одного от другого и в этом смысле равноголосий. Голос автомобилиста должен быть равен голосу ГАИ, потому что естественным образом

у них разные интересы. Что-то может получаться только из динамики взаимоотношений между этими интересами, в том числе и политика, искусство обращения с силами, которые ты с самого начала признаешь независимыми от тебя, такими, которые устранить ты не можешь (и поэтому то, как ты с ними обращаешься для достижения своих целей, и называется политикой). А если я могу все спутать в смазь вселенскую, все смешать (в названиях и во всем остальном), уничтожить любую автономию сил относительно друг друга, то там нет и политики. Я имею в виду не хорошую или плохую политику, я говорю: «Нет феномена политики». Скажем, мы очень часто имеем такие государственные организации вокруг нас, которые я не назвал бы государственными, потому что государство – это политическое явление, а они не являются политическими организациями. Почему? Потому что для них нет сил, которые от них не зависели бы, им не надо иметь культуру политики (политика в этом смысле есть культура, или политическая культура).

Так вот, казалось бы, от закона мы должны были бы ожидать [справедливости], но я повторяю: есть еще сила языка, сила представленности говорящего множества. Представлены и автомобилист, и ГАИ, и судья, и прокурор, и подсудимый, и так далее, – все представлены как есть. Раз это так, то мы понимаем, что закон – странная вещь: целью закона является не справедливость, целью закона является он сам, а справедливость получается лишь в совместном действии закона и силы того, что я назвал «языком» (языком в кавычках). То, что я сказал, равнозначно следующему: закон есть нечто, что всегда существует и действует только в среде закона. Поэтому я сказал, что целью закона является сам закон. Что этим сказано? Я сказал простую вещь, что закон устанавливается, или достигается, или осуществляется, только путем закона же, то есть средства установления, или реализации, закона сами содержат в себе закон – это как бы некоторый эфир, или элемент, охватывающая все это стихия.

Скажем, мы из благих пожеланий, имея в виду высокие идеи в нашей голове, желаем добиться, чтобы люди исполняли какой-то абстрактно (или отвлеченно) хороший закон, например, труди-

лись бы определенным образом: честно, с девяти до шести часов и так далее. И мы делаем это административными приказами, то есть произволом. Я утверждаю, что то, как осуществляется закон, само должно быть законным. Скажем, останавливать человека на улице и спрашивать, почему ты сейчас на улице, а не на работе, – это незаконно; или проверять дыхание другого человека (выпил он или не выпил) – это незаконно. Следовательно, главное состоит в том, что, если закон есть как бы тавтологическое тело, или тавтологическая среда (а так я определил закон – целью закона является закон, средства достижения закона сами должны быть в эфире закона, то есть должны быть законны), то, конечно же, ясно, что мы разрушаем законопорядок, а не устанавливаем его, когда незаконным произволом добиваемся выполнения законов, содержащих в себе самые благие намерения и хорошие идеи. Незаконный произвол уже сам в себе несет микробы, архетипы, прецеденты или образцы беззакония, и это беззаконие будет действовать, сцепляясь одно с другим, независимо от наших благих намерений и пожеланий, по объективным онтологическим законам.

Законы существуют только для свободных существ, в том числе для тех, кого нельзя остановить на улице и спросить, почему он сейчас на улице, а не на работе. Это оскорбление гражданского достоинства человека, и не просто оскорбление, а мыслительная безграмотность целой страны, думающей, что люди живут по законам так, что ради выполнения закона можно заниматься волюнтаризмом, администрированием. Это разрушение гражданского сознания и уничтожение тех семян, из которых потенциально могло бы вырасти правовое сознание у граждан нашей страны. У нас, в Грузии и России, отсутствует правовое сознание – именно это является нашей культурной катастрофой.

Признаком отсутствия правового сознания является проблема налогов; я все время убеждаюсь, что ни один из наших граждан не имеет сознания налогоплательщика. Ведь налоги – это договорные отношения с государством, они означают простую вещь: у меня должно быть сознание, что, поскольку я плачу налоги, меня напрямую касается, сносят аптеку Земеля или не сносят, что делается на улицах города. Но ни один из нас ведь так не рас-

суждает; рассуждают иначе, а глубоко укорененного сознания договорного характера наших отношений с государством нет. Налоги – это то, что автоматически вычитается из нашей зарплаты и вносится куда-то. Простите, но это и есть договорные отношения, накладывающие взаимные обязательства, потому что если я плачу налоги, тогда от государства я требую чего-то, и государство в свою очередь, если оно – правовое государство, берет на себя некоторые обязательства. Если сейчас будут облагать (естественно, наверное, повышенным налогом) всю индивидуальную деятельность и, может быть, будут забирать процентов восемьдесят (я не знаю, что совершается в их извращенных, опьяненных властью мозгах, потому что опьянение властью длится десятилетиями и пройти это опьянение, в отличие от винного, не может так быстро), я, например, готов платить большой налог. Пожалуйста! Но только при одном условии – чтобы я видел, что государство чинит дороги, что оно проводит назревшую больничную реформу, что в госпиталях и больницах с нами не обращаются, как со скотом, что в школе не случается то, что немыслимо ни в одной цивилизованной стране и даже ни в одной традиционной. Даже в арабских или каких-то других странах, где все продажно, ни одному традиционно мыслящему человеку, даже самому темному (я уже не говорю о цивилизованной Европе), не придет в голову, что учителю можно давать взятки и за деньги покупать диплом. Кто этим должен заниматься? Конечно, тот, кому я плачу налоги. Мы должны быть готовы, чтобы на нашей стороне развивалось правовое сознание, договорное сознание, но это означает взаимное его развитие, в том числе и на стороне государства, которое берет налоги. А у нас какая-то неправовая взаимность: права нет ни в массе, ни в лоне просвещенной власти.

То же самое, говоря о законе, я могу выразить так: закон – это один из случаев явления неделимого. Я приводил пример неделимости, говоря об истине как о явлении, обладающем особым свойством неделимости. Нельзя, скажем, в одном месте запретить какую-то истину или считать ее несущественной, не разрушив при этом весь процесс производства истины и не свергнув истину в других местах. Если почему-либо считается несуществен-

ным или запрещается говорить «дважды два – четыре», то в силу неделимости истины рушится истина, например, для религиозного человека самая важная – «Бог есть», то есть самая близкая его душе. Я говорил, что внутри истины нет иерархии – нет более превосходного, чем превосходное, что всякое превосходное превосходно и ни с чем не сравнимо, и так далее. Феномен неделимости относится и к законам нашей социальной жизни: нарушение в одном месте влечет за собой какие-то последствия во всех других местах. Причем, повторяю опять, нарушение происходит тогда, когда мы преследуем закон средствами, не заключенными в самом законе и не являющимися законными.

Например, я могу решить по дискретной, в какой-то конкретный момент вполне понятной причине назначить на продукты определенную цену, или распределять продукты одним и не давать другим, или менять состав продуктов, или заниматься спекуляцией, но ради государственных интересов (то есть здесь мотивы идеи являются законными). А мы можем утверждать такую очень простую вещь (и видеть эту вещь, чтобы утверждать ее, мы можем тогда, когда свободны), что если ты в одном месте ради самых высших побуждений урезал продукт, то есть продаешь заведомо фальсифицированные продукты, к тому же пользуясь монополией, то есть ты везде исключил знание о том, что этот продукт фальсифицирован (так же очень часто мы не знаем, сколько градусов мороза на улице или сколько градусов жары, или не знаем, каков уровень радиации – такое закрытое пространство возможно, потому что есть монополия), или в другом месте ты открыл способ перекачки – ради высших государственных интересов – средств из одного места в другое (скажем, то, что должно было идти на мирные нужды, ты тайным образом переводил на нужды военные, вопреки какой-либо прозрачности), то в силу закона неделимости, или того, что всякий закон обладает свойством неделимости, то, что делалось по высоким соображениям, будет делаться по другим соображениям в массе. Тот, кто ворует из государственного интереса (причем ворует ни у кого, просто, казалось бы, перераспределяет средства), тот сразу же будет имитирован, замещен другим человеком или другими людьми, которые

будут воровать просто потому, что им хочется воровать по самым корыстным соображениям. Этот закон – неумолимый закон, и с ним ничего не поделаешь. Если средство установления закона не-сет в себе произвол, оно воспроизводится в массовом масштабе в других местах, другими людьми с совершенно другими побуждениями и совершенно другими идеями в голове. Так устроено в мире то, что можно увидеть мыслью.

Приведу простую вещь. Она, конечно, простая, как сам случай, но расшифровать ее довольно трудно, и приходится применять понятия. Например, названность, то есть пространство языка, предполагает, что мы приняли и признали существование вещей, которые существуют сами по себе, само-достаточны. Цветок цветет ни для чего, он просто цветет. Это наше дело, что мы радуемся его цветению.

<...>